

Special
for

Гость нашего осеннего номера – талантливый кинорежиссер, продюсер, эссеист, лауреат международных премий - Борис Айрапетян. Его творческому почерку свойственны тонкий, проникновенный лиризм, лаконичность, психологизм. Сегодня мы представляем новую работу

Бориса Айрапетяна – эссе,

где остро звучат идеи нравственности и чистоты, гуманизма и человеколюбия. А у читателя появится еще одна возможность открыть для себя новые грани его безграничного таланта.

(из цикла «Случайные встречи, случайные знакомства»)

Так судьба стучится в дверь!

Так называется Пятая симфония Бетховена. Ее первые такты шагнули в массы, а при первых звуках финала наполеоновские гренадеры, посетившие концерт в оккупированной Вене, вскочили с мест и отдали честь. В целом она стала символом классической музыки. И спасением не только для ее автора.

Людвиг ван Бетховен – редкая личность в истории человечества. И в этом году музыкальный и интеллектуальный мир начал было отмечать **250-летие со дня рождения великого композитора**. Репертуары венских Мюзикверейна и Концертхауса с января были насыщены оригинальными программами с мировыми исполнителями. Не отставали и другие музыкальные залы, которых множество в Вене и городах Австрии. Венская опера в первый день февраля преподнесла сюрприз – показала первоначальную версию «Фиделио», оперу сложную, редко ставящуюся, и единственное в этом жанре сочинение Бетховена, к которому он возвращался не один десяток лет. А уже в марте легендарный Театр-ан-дер-Вин собирался показать эту же оперу в окончательной редакции композитора. На фасадах музеев и культурных центров можно было увидеть вывешенные баннеры с портретами юбиляра. Вечно погруженная в водоворот искусства Вена в эти дни обещала показать всю красоту тонкого мира композитора, испытывая гордость за принадлежность к нему. Но вот, прекрасный старт юбилейного года был прерван неожиданно возникшим чудовищем под названием коронавируса. Он так стремительно ворвался в нашу жизнь и успел унести тысячи жизней прежде, чем мы робко, в суете, задумались, как нам защититься.

В минуты, когда в тишине венской квартиры писались эти строки, страх перед неопределенностью и за своих близких преобладал над всеми остальными чувствами. Слышал, как судьба стучится в мою дверь, и с каждым днем все громче и зловеще, ибо стучалась в дверь каждого человека, каждой семьи, страны, материка, всей планеты, угрожая этой заразой навеки захлопнуть двери перед будущим. Пока же закрылись двери музеев и других очагов культуры, кафе, ресторанов, клубов, магазинов. Школы и другие учреждения спешно переходили в дистанционно-виртуальную плоскость, транспорт, аптеки и продуктовые магазины оставили лишь мини-мальный режим работы. Были отменены рейсы в аэро-портах, закрыты границы между странами. Уже сотни тысяч смертей, миллионы зараженных, и ни на минуту не прекращался этот грозный стук.

Двенадцатого марта, собираясь на концерт Рене Флеминг с участием Евгения Кисина, я пораньше вызвал такси, чтобы перед началом попасть на традиционную встречу меломанов в уютном баре отеля «Империял», находящийся по соседству с филармонией. С утра работая над сценарием, я пропустил сообщение о том, что с этого дня из-за коронавируса в столице отменяются все мероприятия. Оказавшись в центре города, где еще вчера все работало и было заполнено местными жителями и всевозможными туристами, я был поражен совершенным их отсутствием. Метрдотель опустевшей гостиницы за грудой папок подтвердил отмену концерта и закрытие бара, после чего коротко сообщил о других ограничениях, известных ему на этот момент в связи с грозящей эпидемией.

Невозможно было поверить такому повороту событий. В сомнениях и догадках я вышел на улицу. Тротуары пустовали. Доносился гул проезжающей вдали машины. Таинственное шептание тишины настораживало, вызывая подспудное беспокойство. Хотелось видеть людей в их привычном скоплении (что обычно избегаю). Озираясь по сторонам и испытывая ощущение, близкое к прострации, чтобы убедиться в реальности происходящего, я провел рукой по неактуальной те-перь афише. Два силуэта, промелькнувшие в конце бульвара, подвигли меня идти в том же направлении, и вскоре я оказался у закрытых ворот Святого Стефана – главного собора Вены.

Я свернул на Грабен. Вереница зданий, каждое из которых прежде кокетливо доминировало в этой цепочке и радовал глаз, без людского потока превратилась в угрюмую, лишенную признаков жизни улицу. Безлюдное пространство еще больше поднимало дома над землей, и предметы внизу казались совсем маленькими и ничтожными – таким чувствовал себя и я, когда шел по «пустырю» исторического центра. В воздухе как будто висело гнетущее предчувствие надвигающейся беды, некоей катастрофы.

Я поравнялся с *Чумной колонной*, и мысли о смерти уперлись в свое отражение. Внушительная бело-золотая скульптурная композиция из мрамора была воздвигнута в конце 17-ого века в память избавления Вены от эпидемии чумы. Множество элементов в стиле барокко виртуозно переплетали библейские сюжеты с политическими мотивами тех лет, символизируя борьбу с «черной смертью» и победу над ней. Рассматривая давно знакомые мне образы, я не находил в них прежнего пафоса, былой значимости. Одинокие, торжественно застывшие каменные фигуры теперь выглядели хрупкими и незащитными, словно только вылупились из скорлупы прошлого. И было в этом что-то удручающее.

Пока я раздумывал, куда мне податься, к памятнику неторопливо подошла пожилая чета. Ухоженность, отпечаток благородства на лицах в очередной раз убеждали меня, что люди в этом городе умеют красиво стареть. Женщина смотрела на ангелов, которые парили на пилястрах колонны и что-то нашептывала своему спутнику. Сам я по ходу насчитал семь небесных посланников, соответственно их назначению по Библии. Они-то и напомнили мне о моем ангел-хранителе, который являлся всегда, когда стрессовые чувства нуждались в укрощении. Я быстрым шагом двинулся в направлении Рингштрассе, чтобы через квартал с небольшим быть на месте.

Я шел по тихим мощеным улочкам и под влиянием мысленных мельканий прощался с полюбившимися мне домами, старинным магазинчиком гравюр, витринами галереи «Доротеум», любимым столиком в кафе «Черный верблюд», мраморным Лессингом, стоящим во весь рост на Юденплаце, и даже с редкими прохожими, которые попадались на моем пути. Как всегда заманчиво выглядывали на перекрестках дворцы, церкви... Через десять минут я уже был под окнами четырехэтажного Паскуалатихауса.

Каждый раз, когда я подхожу к этому дому или проезжаю мимо, сердце мое учащенно бьется от одной только мысли, что с четвертого этажа этого строения были посланы человечеству творения, непревзойденные по красоте и новаторству, глубине мысли, силе духа, степени воздействия. Девять лет, прожитые Бетховеном в этой небольшой квартире, были самыми плодотворными и полные драматизма в его недолгой жизни. Здесь были написаны **Четвертая, Пятая, Седьмая, Восьмая** симфонии, опера «Фиделио», увертюра «Эгмонт», множество известных сочинений малой формы. И это на фоне преследующей его глухоты, которая с каждым годом усиливалась и приводила композитора к мучительным переживаниям, нервному срыву, нередко - припадкам. Если он и жаловался близким на свой недуг, то никогда им не прикрывался.

Еще ни одному гению не приходилось так муже-

ственно, с такой стойкостью и достоинством нести свой тяжелый крест, как это выпало на долю Бетховена. Он осознавал свою миссию и не сдавался до последнего. До глубины души трогает восторженное признание двадцатидвухлетнего Людвиг, постоянно стесненного в средствах, что *главной целью его переезда из Бонна в Вену было принять из рук Гайдна божественный дух Моцарта*. Молодой вестфалец с берегов Рейна в итоге перерос своих учителей, расширив границы симфонизма, наполнив его новыми смыслами и звучанием, неведомыми его предшественникам.

Он создавал новую реальность в искусстве, а сама реальность не жалела его. В своем дневнике Бетховен задается вопросом: «*Может ли человек изменить собственную жизнь, сделав ее неподвластной для роковых сил?*». И отвечает: «*Человек - безгранично сильная и волевая натура, так почему же ему не схватить судьбу за глотку?*» А в письме к другу читаем: «*Я хочу схватить судьбу за глотку. Ей не удастся окончательно сломить меня. О, как прекрасно прожить тысячу жизней!*» На смертном одре Бетховен, сжав губы, приподнялся и сердито погрозил кулаком кому-то, вытянулся и вздохнул в последний раз... Его друг, Ансельм Хюттенбреннер закрыл ему глаза. Бетховену было неполных пятьдесят семь лет. Так судьба постучалась в его дверь! И однажды споткнулась о **Пятую симфонию**...

При обуеваемых чувствах разрозненные мысли всегда выскакивают вперед, и невозможно их обуздать, пока не дотянешься до источника... Окна на четвертом этаже были прикрыты ставнями, а на широких дверях подъезда было прикреплено небольшое объявление о временном закрытии дома-музея в связи с эпидемией коронавируса. Я не очень расстроился, я ожидал этого. Мне достаточно было находиться поблизости, чтобы вновь обрести силу духа. Я присел на лавочку напротив подъезда, перевел дыхание и сразу же почувствовал облегчение, будто вышедшие силы взяли меня под свою защиту.

Вспомнилось первое посещение этого места более тридцати лет назад. Небольшой внутренний дворик дома сохранился таким, каким он был при жизни композитора. Удивляли узкие круговые лестничные пролеты, с трудными для подъема ступеньками - как Бетховен, простой смертный, преодолевал их каждый раз, поднимаясь к себе на четвертый этаж? Меня охватил сладостный трепет, что по ним ходил мой любимый гений. Переступив порог квартиры, я попал в залитые светом комнаты и сразу же проникся духом великой музыки - здесь было много создано, много пережито... С замиранием сердца я подошел к старинному крыловидному роялю с открытой крышкой, тому самому светло-коричневому инструменту, который по просьбе Бетховена переделывали глубину клавиатуры и силу звучания, близкие к современному роялю. Этот инстру-

мент кочевал вслед за своим хозяином по часто сменяемым съемным квартирам.

Можно только вообразить, какие минуты вдохновения и счастья испытал композитор за этим инструментом, когда нежные мелодии сонаты вдруг в разработке обретали мощь, структуру большой формы. Этот рояль первым слышал многое из того прекрасного и возвышенного, что делает этот мир лучше вот уже более двухсот лет. Я не мог не подойти и не прикоснуться к его клавишам, хотя знал, что этого нельзя делать по всем правилам музейной этики. Посетителей в зале не было, так как я пришел с утра пораньше, чтобы спокойно окунуться в заветную атмосферу. Только я дотянулся до клавиш, как мужской голос сзади остановил меня. Это был администратор музея - высокий, худощавый мужчина в очках. Он выскочил из соседней комнаты, повторяя: *«Извините, здесь ничего нельзя трогать»*. Я, конечно, извинился, сказал, что мне это хорошо известно, затем промямлил некую чушь вроде необъяснимых импульсов и тому подобное.

Пока я краснел от своих объяснений, мужчина поверх очков пристально вглядывался в меня и после минутного молчания спросил: *«Вы музыкант?»*. Я отрицательно покачал головой и признался, что хотел похвастаться перед отцом, который преклоняется перед Бетховеном и собирает отдельную фонотеку его сочинений. Еще добавил, что папа мой тоже не музыкант, просто большой любитель классической музыки. Администратор с легкой улыбкой поинтересовался, из какой я страны. Я ответил, что родом из Армении, Еревана, но живу в Москве. Пауза была недолгой, и он произнес: *«Хорошо, попробуйте, но, пожалуйста, без нажима и не громко»*. Вдобавок этот душевный человек снял с моего плеча фотоаппарат на ремне и приготовился меня заснять. Я слегка замешкался, испытывая к нему признательность, и, чтобы не злоупотребить его доверием, правой рукой тихо взял до минорный аккорд, максимально продлевая его звучание, затем через арпеджио до минора вывел известный мотив Третьего фортепьянного концерта Бетховена...

«А ведь и Пятая симфония начинается в до миноре», – вспоминал я под бетховенскими окнами. В ушах послышалась неповторимая поступь. Этого было достаточно, чтобы весь оставшийся вечер я был во власти ее названия - *«Так судьба стучится в дверь»*. Я еще не подозревал, что судьба, испытывая нас пандемией, месяцами будет так рьяно стучаться в нашу незащищенную дверь, а число жертв будет только расти. Готовясь к худшему, я стыдился своего малодушия, а мысли о Бетховене пресекали подкатывающие к горлу страхи и настраивали на единственный возможный выход: никогда не сдаваться перед кознями судьбы. Не сдаваться, как глухой композитор, переживавший непомерные страдания, не сгибаясь, борясь, творя, отстаивая духовные ценности

и приумножая их. О таких людях Вергилий сказал: *«Они сгорали, освещая путь другим»*.

В тридцать пять лет, когда началось работа над Пятой симфонией, он уже был в тисках прогрессирующей глухоты. Страшнее для музыканта нет ничего. Бетховен был близок к отчаянию. В дневнике он писал: *«Только добродетели и искусству я обязан тем, что не покончил жизнь самоубийством»*. Добродетель и искусство... Созидание и нравственный закон. Эти понятия часто балансируют на острие противоборства, когда стремление к славе заставляет художника вступать в сговор со своей совестью. Бетховен, при всей внешней угрюмости, не озлобился на весь мир. Его воля была направлена на исполнение нравственного закона, и он твердо следовал своему долгу, подчинив творчество одной безусловной идее – стремлению к истине, к идеалу, где общие интересы воспринимаются как личные. В письме к Вегелеру он писал: *«Вы меня увидите не только выросшим в искусстве, но также лучшим и более совершенным человеком»*. И другому приятелю, Гертелю: *«Я с детства стремился понять сущность лучших и мудрейших людей каждой эпохи»*.

Бетховен искренне переживал за своих близких и друзей. Он часто бывал в долгах, но, когда появлялись деньги, без подсказки помогал всем. Требования его души и разума не зависели от личной жизни, быта, посторонних причин. Как у по-настоящему свободного человека с богатым внутренним миром его мораль не нуждалась в религии. Для Бетховена Бог существовал как некая поэтическая идея утешения. За спасением он обращался к музыке, творчеству, вере в собственные силы.

Три года упорного труда, чтобы схватить судьбу за глотку и... создать самую часто исполняемую симфонию. Постоянно размышляя о смысле жизни, Бетховен просто и ясно определил ее содержание: *«От тьмы к свету, через борьбу – к победе»*. К этому моменту он страдал не только физически, но и был подавлен вторжением наполеоновских войск в Австрию и оккупацией ее столицы. Его переживания идентифицировались с борьбой народа за свою свободу.

После долгой кропотливой работы задумка вылилась в масштабное программное произведение. Эта глыба просто дышит избытком мыслей, чувств и страстных порывов. На полюсах схватки - мужественная решимость и полное изнеможение, новый прилив сил и борьба до победы. Невероятный, предельный лаконизм изложения лишь провоцирует на мощные импульсы, подчас требующие от оркестра большего. В финальном марше для звучности Бетховен впервые в тогдашней симфонической музыке включает в состав оркестра три тромбона, флейту-пикколо и контрафагот.

В изнурительной борьбе ему не раз приходилось менять финал, - то в светлых тонах надежды, то в кра-

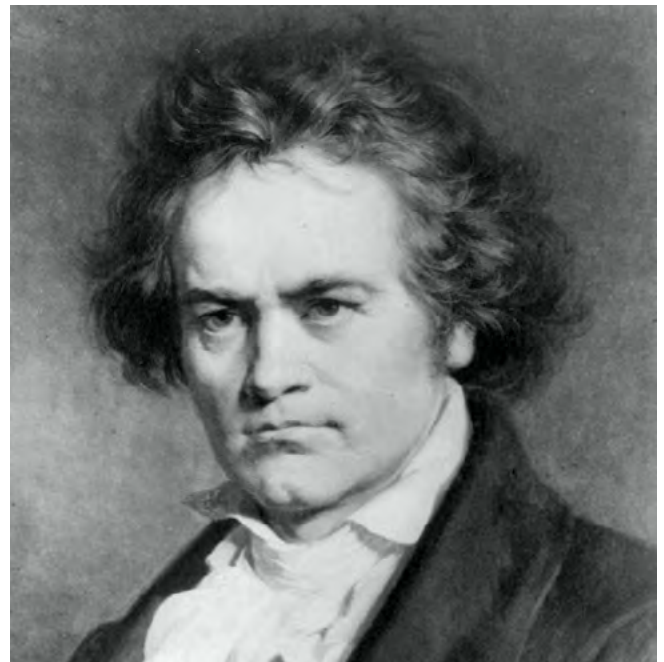
сках предчувствия гибели. Затухшие на миг душевные силы в трепетных, низведенных к пиццикато молящих интонациях в до миноре третьей части без остановки плавно вступают в финальную часть и, возродившись, взрываются в до-мажоре мощными аккордами героического марша - отголоска Французской революции. Как извергающийся вулкан, которого ничто не может остановить, - так ослепительно и в едином порыве воплощается торжество победившего духа.

Пятую симфонию Амадей Гофман признал самым значительным произведением эпохи, Вагнер – эталоном классической музыки. Шуберт, Берлиоз, Лист противопоставляли этот шедевр бессодержательному изяществу в искусстве и всячески пропагандировали творческий стиль композитора. Для Бетховена же столь выстраданное сочинение стало спасением от мыслей покончить с собой и условием обрести будущее. Пятой симфонией он сломал хребет злорадству судьбы. Бетховен не побоялся приоткрыть дверь и столкнуться с ней лицом к лицу. Он предъявил ей все, во что он верил, что ценил и за что боролся.

Окончательно поверив в свои силы при растущей глухоте, композитор вступил в свой лучший период творческой жизни. Бетховен перестал стыдиться большой слуховой трубы, которую использовал в силу своего недуга, и шутил, что благодаря болезни его друг, механик Мельцель, изобрел прибор (впоследствии известный как «метроном»), позволяющий глазами отсчитывать любой темп.

Количество шедевров, сочиненных после Пятой симфонии, поражают воображение. Это **Четвертый** и **Пятый фортепианные концерты**; сонаты **«Аврора»** и **«Аппассионата»**; **Шестая симфония - «Пасторальная»**, - неожиданная по лиризму и контрасту с Пятой, «расточительная» **Седьмая**, из которой можно было бы выделить еще одну симфонию; **«Фиделио»** с тремя увертюрами, о которой Глинка в сердцах сказал Серову, что не променяет ее на все оперы Моцарта, наконец, **Девятая симфония** – эпический труд Бетховена и его духовное завещание к свободе и призыв к единению человечества. Для ясности и усиления этой идеи в оркестр приглашаются солисты и хор с текстом Шиллера «Ода к радости!» - и финал симфонии в XX веке становится гимном, официально принятым Европейским союзом.

В переписке с Беттиной, возлюбленной Гете, Бетховен писал: *«...Во всем духовном лежит нечто вечное, бесконечное и никогда не могущее быть охваченным целиком, - поэтому ощущаю вечный, ненасытный голод к творчеству»*. Современники, которые способны были уловить современность, назвали Пятую симфонию **«Новаторской»**. Но новаторскими были почти все произведения Бетховена. Они - плод языка искусства,



специфики художественного освоения материала. *«... Есть непосредственное чувство, но нет искусства»*, - шепнул Бетховен приятелю и ушел с концерта новоявленного композитора. Нет таких чувств и душевного состояния человека, которые не отразил бы Бетховен в своих сочинениях. Они стали предметом искусства, высокого искусства, продвинувшего в целом искусство XIX века на столетие вперед.

...Часы на городской ратуше пробили полночь. Пора было идти домой. Ничто не нарушало мою умиротворенность в блаженных размышлениях - только ветерок чуть сильнее задул, да редкие машины за оградой неслись, пользуясь свободой дорог. Время будто замерло в общей мысли, объединив прошлое, настоящее, будущее с ощущением, что истина владеет тобой. Окна на четвертом этаже, вне лучей ночного освещения скрылись в темени, оставив невидимые нити, которые всегда остаются между родственными душами. Обмякшие ноги обрадовались, когда я встал со скамьи и побрел в сторону стоянки такси. Справа от меня открывалось красивое здание университета, в котором, кстати, молодой Бетховен, как и в Бонне, посещал лекции по философии. Надо полагать, что эти знания подпитывали широту его взглядов и природную вдумчивость. Перейдя дорогу, я бросил взгляд на последний этаж Паскуалати-хауса – интересно, суждено ли нам вновь встретиться? На ум пришел Чайльд Гарольд: *«Прощай, и если навсегда – то навсегда прощай!»*

Мне расхотелось брать машину, и я прошел мимо длинного ряда такси, тоскливо ожидающих пассажира. До дома идти было минут сорок-сорок пять. Показалось, для разбуженных чувств этого мало, поэтому

не спеша, наслаждаясь ночной прохладой, я выбрал не самый короткий путь. Меня сопровождал не только клубок сегодняшних мыслей, но и незримый образ, который все это время был рядом и первым открыл мне ворота бетховенского мира.

Я был подростком, когда отец, улучшив момент, предложил, скорее, по-дружески заставил, прослушать вместе с ним «Эгмонта», назвав его увертюрой. Я понятие не имел, что это такое, но согласился без сопротивления, так как собирался просить у него денег на свою первую гитару, чтобы научиться играть на ней рок-музыку. В кабинете отца проигрыватель всегда был наготове с какой-нибудь пластинкой, достаточно было нажать на пусковую кнопку и подвести иглу к диску. Как только заиграла музыка, отец стал подпевать, затем восторженно комментировать чуть ли ни каждый прозвучавший мотив, пытаюсь вовлечь меня в предмет своего обожания. Он вдохновлялся с каждым тактом, местами дирижировал и вздыхал: *«Такое мог сочинить только истинный гений!»* (Впрочем, он так говорил обо всех произведениях Бетховена.) Мне оставалось тихо сидеть, высчитывать минуты, когда все это закончится и я смогу выбежать во двор к друзьям. Почему-то отец был уверен, что ему удалось заронить во мне любовь к серьезной музыке, иначе не предложил бы сразу по окончании заново послушать увертюру. На самом деле, для моего еще диковатого уха, кроме одного напева, все остальное звучало мрачно.

Нет, в семье я был приобщен к классике, узнавал популярные отрывки из Моцарта, Вивальди, Россини, начало первого фортепианного концерта Чайковского, реже - из Баха, Верди. Если где-то звучало «Болеро», я с опережением мог насвистеть его, но вот запоминать фамилию автора, Равель, тем более имя, Морис, не входило в мои задачи. Так или иначе, в глубине души я на веру отдавал должное классической музыке, пока она не стала для меня нерелигиозного человека сакральной. От повторного прослушивания я отвернулся, сославшись на подготовку к экзаменам у товарища дома. Отец не стал удерживать, взяв с меня обещание вместе послушать Пятую симфонию на неделе. Напоследок добавил: *«Я хочу, чтобы ты знал, Бетховен – это мой ангел-хранитель»*. Слова прозвучали тихо, с расчетом на понимание, словно мне доверяли большую тайну. Больше удивило словосочетание «ангел-хранитель» из уст моего отца. В кругу нашей семьи я никогда не слышал религиозную лексику. Мои родители, как и большинство советских людей, смотрели на религию как на пережиток прошлого, что не мешало им со всем уважением относиться к ее истории и к тем, кто нуждался в ней. Этому учили и нас, детей.

У «ангела-хранителя» оказалась совсем нерелигиозная история. Хорошо, что папа рассказал мне ее перед

прослушиванием Пятой симфонии, а не после. В противном случае, я вряд ли бы смог досидеть и дослушать этот бурлящий поток звуков до конца. Я был удивлен, впервые услышав о его злоключениях в молодости, наминавших мне сцены из фильмов о войне. Оказываются, когда-то и мой папа был подростком, юношей. Бывают истории, которые кажутся неправдоподобными только оттого, что в них участвуют знакомые тебе люди, а тут – родной отец. Чем дольше я слушал его, тем больше возрастало любопытство к событиям того периода. Никуда не хотелось идти, я отменил встречи и не подходил к новой гитаре. В этот вечер отец по-новому открывался мне. Прежде я не замечал в нем военную удачу солдата, пережившего ранения. Только годами позже понял, что его восторженное восприятие жизни и легкость в общении, которое ценили все, кто знал моего отца, прикрывали тяжелый груз воспоминаний о войне.

В продолжение темы папа включил мне Пятую симфонию. На этот раз, он говорил мало, подчеркивал места, где *«судьба стучится в дверь»*, где завязывается борьба, предоставляя остальное моему восприятию. Я находился под сильным впечатлением от рассказа папы, поэтому не помню, в какой момент я так слился с музыкой, что в конце финальные аккорды симфонии вихрем закрутили мои набухшие чувства и по телу прокатилась звонкая дрожь...

По словам папы, у него были свои отношения с Пятой симфонией. Мой дед, папин отец, подарил ему на день рождения морской кортик и толстую книгу **Ромена Роллана «Жан-Кристоф»**. Папе исполнилось семнадцать лет. Он заканчивал школу, а через месяц началась Великая Отечественная война. Дед, будучи военным, должен был уехать к месту дислокации дивизии, в которой служил. В день отъезда пока бабушка моя собирала ему на дорогу, а тетя, папина старшая сестра, готовила завтрак, дед достал пластинку и на всю громкость – чего никогда не делал – включил патефон. *«Если угадаешь, кто сочинил эту вещь, получишь награду!»*, - торжественно заявил он сыну, снимая с руки часы. Знаменитый напев из начала второй части Седьмой симфонии Бетховена вызывал у женщин слезы. Они тихо плакали, продолжая заниматься своим делом. Дед, удовлетворенный тем, что его любимый отрывок трогает и сердца других, ждал ответа. Папа не мог знать, поскольку впервые целенаправленно слушал классическую музыку. Он увлекался планерами и все свободное время пропадал в клубе юных авиаконструкторов.

Отцовские часы папа все же получил (теперь они на моей руке, только ремешок пришлось сменить), но с условием, что он не поленился и обязательно прочтет до конца «Жан-Кристофа». Дед повторял, что папа не пожалеет, еще вспомнит его слова, и они обсудят книгу, как только он вернется. Это была их последняя встре-

ча. Дед погиб под Вильнюсом осенью сорок второго. (Приблизительную дату гибели и подробности удалось установить только после окончания войны.) Сразу после отъезда деда мой папа пошел в военкомат записаться добровольцем на фронт - так поступали многие его сверстники. Но ему отказали как несовершеннолетнему. Его это не остановило. Папа решил сбежать на передовую и обдумывал план действий – ходил по московским вокзалам узнавать движение поездов, следил по радио за сводками новостей на полях сражений. Целью было попасть в воинскую часть отца и, как он думал, быть ему там полезным. Точного адреса не было. В письмах сообщалось о постоянном их перемещении.

По штампу на конвертах можно было догадываться, что подразделение деда находится где-то в районе литовско-польской границы. Требовалось уточнение. Еще надо было успеть прочесть книгу, чтобы расположить к себе отца на случай, если он вздумает отправить его обратно домой. В предисловии к «Жан-Кристофу» было сказано, что этот роман о некоем немецком композиторе по фамилии Крафт, прототипом которому стал Бетховен. По словам папы, объем книги его пугал (сам автор назвал ее роман-рекой, то есть длинным, как река), да еще оказалась не про авиацию. Первые страницы читались из любопытства, чтобы понять, чем эта книга могла заинтересовать его отца, военного офицера. Очень скоро и неожиданно для себя, папа проникся сочувствием к герою романа, Жан-Кристофу. История детства композитора щемила его душу. Он втянулся в чтение и не расставался с книгой, сожалея, что когда-нибудь она закончится. С этой книгой и небольшим рюкзачком папа покинул дом и отправился на вокзал. В записке к матери он просил не беспокоиться за него, понять и простить его.

Бабушка мне рассказывала, какой шок пережила, узнав о его побеге, а также многое из того, что принесла война ее семье. Из Москвы до Бреста папа добирался с пересадками несколько дней, в том числе и в товарных вагонах. На каждой станции возникали свои проблемы, приходилось просить, уговаривать проводников, иногда прятаться от них. Поезд, направляющийся к литовской границе, был битком набит солдатами и гражданскими. В вагонах стояла жуткая духота, пахло потом, махоркой, на полках плацкарта отсвечивалась пыль, в давке на проходах топтали ноги, обрывали пуговицы. Для папы лишения и неудобства были всего лишь атрибутами романтики. К тому же, он заряжался духом Жан-Кристофа, перелистывая страницы романа при каждом удобном случае. Впереди открывался героический мир Бетховена, и папа, проникнутый этим духом, пробивался через шумную толчею по вагонам, ища местечко у окна, чтобы ничего не пропустить в мелковатом шрифте книги. В суматохе пересадок ему удалось занять место близ окна и почувствовать себя счастливым - ведь за любимым чте-

нием он заодно скоротает последний этап, так изматывающий терпение. Вместе с книгой из рюкзака высыпались остатки печенья, раскрошенного в толчею. Журчание в желудке давало о себе знать. Оставалось уткнуться в книгу и не смотреть на тех, кто выкладывал еду, или уже жевал. Конечно, соседи угощали его и делились всем, что у них было. Ну и подшучивали, - иначе как «*профессор*» и «*наш ученый*» к нему не обращались, намекая на толстую книгу. Каждый старался подбодрить другого, пока не услышали над собой рев бомбардировщиков и свист падающих бомб...

Поезд разбомбили так, что половина состава сошла с рельсов, несколько вагонов были опрокинуты набок. Для папы так и осталось загадкой, как из того пекла его выбросило в овраг вместе с другими уцелевшими. Помнит только выбитые ударной волной оконные стекла, крики, стоны в горящем искореженном вагоне, люди бежали, спотыкались, падали. Немецкие снаряды рвались рядом. Землю сотрясало, комья сыпались вместе с камнями и травой. На пулеметные очереди пикирующих самолетов наши солдаты отвечали огнем из винтовок. Запомнился раненный солдат, который дополз до края оврага и скатился к ногам папы уже мертвым. Сосед по плацкарту, оказавшись в том же овраге, прикрикнул на «*профессора*», чтобы тот не высовывался, прижимался к земле и прикрывал голову своей толстой книгой. Папа был удивлен, обнаружив книгу в руке. Его пальцы так судорожно вцепились в твердый переплет, что книга казалась продолжением руки. В следующий миг он получил удар и потерял сознание.

Папу подобрала литовские крестьяне. У него оказалось два ранения - осколком в бедро и пулей навывлет через носовую перегородку. Жители деревни нашли хирурга и вывели его. Папа был прикован к постели в доме одной сердобольной семьи. Он восстанавливался медленно и тяжело. Ему пришлось на полгода задержаться в тех краях. (После войны, годы спустя, папа навестил своих благодетелей вместе с моей мамой, а потом они стали приезжать к нам в гости и в Москву, и в Армению). Когда папа пришел в себя после операции, он чуть не заплакал, заметив у изголовья свою книгу - потрепанную, но чистую. Боли по всему телу, гематомы под глазами не позволяли ему читать. Он дотягивался до книги и по отдельным строчкам открывавшейся страницы, восстанавливал в памяти прочитанные эпизоды.

Паулина, так звали хозяйку дома, часто заставляла спящего юношу в обнимку с книгой. От жалости к нему она упросила местную библиотекаршу, Ильзу Урбонас, знавшую русский язык, чтобы та приходила хотя бы на час и читала раненному. Ильза, женщина средних лет, начала с того места, где немецкие бомбы прервали чтение о немецком композиторе. Библиотекарша заинтересовалась романом и, когда папа засыпал, она не спешила уходить,

а открывала ее первые главы. По просьбе папы она написала из Вильнюса пластинку Пятой симфонии, и когда он встал на ноги, дважды в день ходил в библиотеку слушать ее - рано утром и поздно вечером, чтобы никому там не мешать. Ильза оставляла ему ключи от комнаты, где стоял патефон, иногда присоединялась к нему.

Мой семнадцатилетний папа довольно эмоционально разбирал при ней произведение Бетховена, приводил выдержки из «Жан-Кристофа» и соотносил их с услышанной музыкой. (Ильза любила вспоминать эти вечера, когда гостила у нас). Она также помогала папе писать письма домой и отправляла их по почте. К сожалению папы и жителей деревни, ответов не было. Не было все пять лет, когда папа писал им с разных фронтов и из разных стран. Откуда ему было знать, что мама с сестрой при эвакуации жителей Москвы в октябре сорок первого тоже попали под бомбежку и оказались в немецком лагере. И что Лена, родная сестра (так сейчас зовут мою сестру) умрет в этом лагере в свои двадцать лет от туберкулеза. Мать и сын нашли друг друга только через год после окончания войны. Все эти годы папа очень переживал за маму, сестру, за отца, где-то воевавшего, не говоря о том, как сам выжил в оборонительных боях или в землянках партизанской базы.

В самые трудные, тяжелые минуты, когда наступала слабость от голода и холода, когда, изнуренный в сырых от дождя окопах ждал команды «в бой!», он черпал силы и вдохновение у Жан-Кристофа, прокручивая в голове целые куски из Пятой симфонии. В окружении смерти, изуродованных тел и множество невзгод войны бетховенская музыка, звучащая в его ушах, была откровением, мигмом счастья – мигмом, бесконечно наполняющим его сердце порывом к жизни. В этом порыве восходила высокая степень понимания себя, окружающего мира, вселяющего в молодого человека уверенность и опору, ведь он следует по стопам исторической личности. Отдавая частицу воли Бетховену и Пятой симфонии, папа изнутри приобретал дух стойкости, мужества, героического начала, которые пронес с собой через всю войну. Эти ангелы от музыки действительно охраняли его: папа не только выжил, но и был награжден боевым орденом, медалями, в том числе за освобождение Чехии, Австрии от фашистов. Он ненавидел войну и не стал военным, но за человеческое достоинство сражался до конца своих дней. Так судьба стучалась в его дверь.

Папа прожил чуть больше восьмидесяти семи лет. Девять лет назад он покинул этот мир. Ничем серьезным не болел. Врач, прикрепленный к нему как к фронтовику, отметил его смерть непривычными для нас словами: «Он умер от старости». Папа был издателем научно-популярных книг. Он был известен своей фонотекой классической музыки и военных маршей, в которой можно было найти разные исполнения одно-

го и того же произведения. К завтраку он заряжал пластинку и выходил к нам под бодрящий марш или воздушные увертюры, чаще это были отрывки из его любимых опер. Серьезные прослушивания проходили по вечерам. Когда звучал Бетховен, моя бабушка, светлая ей память (мне было двадцать три, когда она умерла), как правило, вспоминала своего супруга и рассказывала нам интересные эпизоды из довоенной совместной жизни, после чего уходила к себе в комнату спать. Мы оставались говорить о музыке, жизни, вкусах и тенденциях современного искусства.

В горячих спорах моя незабвенная матушка всегда принимала сторону отца. И не оттого, что она разделяла его взгляды, - чтобы он никогда и ни при каких обстоятельствах не почувствовал себя одиноким, даже в своих заблуждениях. Мама не забывала, что с юношеских лет папа рос без отца, прошел трудный путь войны, кошмары которой снились ему время от времени, и он кричал во сне. Ей хотелось заглядить в нем эту несправедливую жизненную коллизию, быть ему опорой, чтобы он жил в чистоте и уюте, главное – в уверенности, что вторая половина его жизни протечет счастливо. Она дольше, чем я или моя сестра, засиживалась в кабинете и вместе с папой допоздна слушала Бетховена и других композиторов. Мама ушла из жизни за полтора года до папы. Папа сник, но старался по возможности не показывать нарастающую грусть. При ясном уме и на ногах, он странным образом прочувствовал свой последний день и держался мужественно, как истинный стоик. С утра, под военные марши, он разбирал свой архив, почти не прикасаясь к еде. Со второй половины дня, папа пролежал на кровати под любимым пледом моей мамы и в раздумье заносил мысли в тетрадь. Музыки почти не было. Иглу с последней дорожки пластинки снимала моя сестра, обратив внимание на его отсутствующий взгляд. Поздно вечером, для отвода подозрений у домочадцев, папа попросил на завтра забронировать ему билет в филармонию, сам поставил детские фортепианные вариации Бетховена, но так и не захотел перебраться в постель из-под маминого пледа. На рассвете его не стало.

В тетради были расписаны несколько мелких поручений по дому, архиву, знакомым, а под конец пожелание личного характера. Он просил меня выбить в углу надгробного постамента, общей с мамой, небольшую эпитафию собственного сочинения. Несвойственную ему сентиментальность (в тетради было написано ироничное «сенти-менты») папа оправдывал желанием символически отдать свой неутолимый долг тем, кто долгие годы были ему опорой и вдохновением, и к моему сведению, прояснял: «В мгновениях счастья всегда находится миг, который может изменить судьбу...». Далее он желал мне не упустить свой миг счастья и дорожить этими минутами жизни. Папа просил офор-



мать слова на камне неброско, на мое усмотрение, может даже на латинском, небольшим шрифтом - «... так, чтобы это было между нами», - как он написал. Я исполнил его пожелание, но с одной поправкой – сделал эпитафию общей для нас. Ведь кроме мамы и папы, здесь покоилась и моя бабушка, когда-нибудь наступит и мой черед, думалось мне. Одобрение папы я получил во сне. Накануне я перебирал домашнюю библиотеку и наткнулся на его любимый роман. Листая странички, вспоминал, какое неизгладимое впечатление он оставил и на меня. В один из дней мне приснился маленький Жан-Кристоф с фарфоровым ангелом в руках. И я со спокойной совестью поручил мастеру высечь на граните внутреннего бордюра папины слова: «*Мы снова вместе - и снова будем слушать Бетховена*».

Своего «ангел-хранителя» папа оставил мне в наследство. Не знаю, что будет потом, но по дороге домой он с распахнутыми крыльями кружился надо мной, над Веной, парением освещал ночной город - город, в котором Бетховен прожил целую жизнь и здесь же был погребен. Я взметнул к небу глаза и услышал в ответ - «...миг счастья может изменить судьбу». Душа в ночи была объята пульсирующими звуками бессмертной музыки. С приливом возрождающихся сил я уже не прощался с дворцами и памятниками, когда шел по Опернрингу, а снова и снова восторгался их красотой и человеческим умением. Эти великолепные архитектурные ансамбли справа и слева в отместку своему имперскому прошлому сразу стали очагами культуры и духовных ценностей. Повезло, что никакая пандемия,

никакой коронавирус не в состоянии их заразить и разрушить. Этого достаточно, чтобы не беспокоиться о бесценных творениях, но подхлестнуть ими свою волю в схватке с судьбой. Неизвестно, как долго продлится это противостояние и подношение нашего достоинства виртуально, при пустых залах. Выставленные произведения удивлены, почему им перестали аплодировать и восхищаться ими, почему больше не чувствуют нашего дыхания, хотя продолжают стараться для нас. Время еще есть. Надеюсь, что до **шестнадцатого декабря** нам удастся схватить за глотку этот чертов вирус и отпраздновать на всех запланированных до эпидемии площадках день рождения Людвига ван Бетховена. Соберемся на юбилейные торжества без опаски пожать друг другу руки, вместе утолим жажду живых чувств, чтобы искать в радости и мгновениях счастья тот миг, который утешит нас и после жизни...

У порога своего дома я задержался. Город спал, укрывшись темными облаками. Хотелось мне быть его вечным стражем, встречать его дивное пробуждение, наполняющее остаток дня музыкой со всего света... Какая жалость: история, задвинув в сторону намотанные века, сама пришла к Бетховену поздравить с юбилеем, но малость промахнулась... Интересно, каким образом Судьба приносит свои извинения, когда ненароком ошибается? И ошибается ли вообще? Да, о чем только не подумаешь, на что только не понадеешься, когда судьба стучится в дверь.

Материал перепечатан из
Neues Wiener Magazin, №10 29/8/2020